

Кузьма Лукич заходил в дом Ки, не замечая меня, семилетнего мальчика, здоровался с бабкой и дедом. Ставил в угол суковатый батожок и устремлялся в горницу...

Высокий, сутулый. Он зарос густой и широкой рыже-русой бородой. Круглые, со слезой, глаза, стриженная овечьими ножницами голова имела форму улья. Я не спуская глаз смотрел на Кузьму Комкова, на его нечесаную, с проседью, бороду, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза. Пронзительная улыбка.

Садился он на лавку широко, основательно, как будто навсегда. Уставившись на деда своими ключими прозрачно-коричневыми глазами, как у филина, Лукич улыбался, спрашивал деда о колхозных делах, но разговор не налаживался. И тогда Кузьма вынимал из бокового кармана допотопную склянку с самогоном, замысловатую и граненую, ставил на стол. Дед мой оживлялся, приносил стаканы, и бабка начинала заводиться – ворчать так, чтобы слышал Кузьма.

– И чего ходит? – ныла бабка.
– От делов отводит... Вот и ходит,

и ходит...

– Мать, а мать, – по возможности ласково и сердечно просил мой дед бабку – он называл ее «мать», – дай-ка нам чего-нибудь зажевать, занюхать чего-нибудь...

– Вот как сойдутся пара – лапоть да сапог, не разлей вода... И все «дай» им! А чего я вам дам? Так вот пили бы и пили, да вот болтовня и курятина...

Бабка лукавила. «Болтовня и курятина» бывала нечасто, только на праздники: престольные или советские, и тогда бабка, покончив со всеми делами, сама уходила к соседке, не могла она терпеть подвыпившего деда, не в меру разговорчивого и храброго. Но и в простые зимние вечера временами горницу наполнял табачный дым, зависал под потолком облаком, на полу валялись оплеванные окурки, взрывы хохота приводили бабку в трепет, терпение ее раскалывалось, истощалось.

– Мужики, – растворяя дверь из кухни в горницу, совестила бабка, – мужики, ай не стыдно в чужих людях сидеть до глубокой ночи? Дайте хоть поужинать спокойно. Поди-ка, и в уборную захотели?

И тут же накидывалась на главного виновника сборищ, на деда:

– А с тобой, доходяга, я после поговорю! Я тебя сковородником приласкаю!

И когда страсти накалялись, ссора набирала силу драки, мужики нехотя уходили...

Но самым главным и желанным слушателем был дед Кузьма. Тут открывались самые сокровенные дела и думы. Даже и в брежневские времена, когда, по слухам, снова начали хватать за болтовню, открывались подкладки совсем не героической стороны прошлой войны. Один из таких дней особенно запомнился мне.

– ...Слыхал, что наговорили тут эти вояки? – спрашивал дед Терентий никогда не воевавшего Кузьму, случаем ли, хитростью увернувшегося от призыва. – Слыхал? – спрашивал дед после очередного сборища. – Прямо жуть берет, герои. Когда войны и в помине нет. Языки они брали, штабы громили, кровь мешками проливали! А им было-то тогда кому двадцать, а кому и поменьше. Моему старшему и средненькому ровесники. Как же, и я понимаю, худо им было. У самого двое сыновей погибли, два брата и племян. Да эти-то все на фронт попали когда?

– Когда? – переспрашивал Кузьма без интереса.

– Когда уже поперли немцев: сорок третий, сорок четвертый, вот когда. А вот когда от них драпали, худо им было, необстрелянным-то.

– ...Все это, и приход Кузьмы Лукича в тот день в наш деревенский дом, и двух стариков-инвалидов: один – с культей, другой – без ноги, не любивший искусственных «непослушных» протезов, а носивший самодельный, как в дупло втыкавший туда культю левой ноги,

– живо вспомнилось мне теперь, когда я прочитал в газете «Неделя» за май этого года статью. Как по сердцу ударила: «Порядок клеймения». В 1942 году, 20 июля, вышел приказ Верховного командования сухопутных сил. Берлин – Шенеберг: «Советские военнопленные должны быть клеймены особым устойчивым знаком. Знак состоит из снизу открытого острого угла, около 45 градусов и 1 см длины, на левой половине ягодицы, на расстоянии пяти пальцев от заднего прохода. Знаки делать ланцетами, какие находятся в каждой воинской части. В качестве краски употреблять китайскую тушь...»

Это был праздник, верно, День Победы, и бабка не ворчала на то, что все четверо – и Кузьма, и дед, и двое инвалидов – все были под хмельком. Она все что-то подавала на стол, то и дело меняла щи, картошку, жесткую желтую солонину с аппетитным мясом и лубяной шкуркой резала ломтиками, а я делал вид, что учу уроки.

Бабка приносила грузди ароматные, исчерна розовые в рассоле, и пухлые оладушки. От самогона отказывалась, ее неволили, силком усаживали на табуретку, она пригубила, намочила язык и замахала ладошкой: «Ну яд, как есть яд...»

В конце концов не выдержала, увела меня из горницы, отгоняя ладошками дым от самосада, затворила за нами дверь в кухню, а я приладилась с уроками на краешек подоконника. В горнице дым стоял ковромыслом. Друзья прикладывались к самогонке по единой, но неоднократно. Они перебивали друг друга, спорили, упрекали. Наконец опустела огромная диковинная склянка, и, очевидно, воспоминания о войне в тот день достигли самой высокой точки, апогея.

– Ха-ха-ха, – громко смеялся дед Кузьма, – верно, верно, я вспомнил, вас тогда шестерых забрали...

– Да ты слушай, Кузя... На фронт-то забирали кого в чем: старенькие сапоги, телогрейка. В шапках, годных только на галчиные гнезда. А в холщовых сумках за плечами – яички, сухарики, пышечки-фуишечки... Негусто. А осень была мокрая, будто небо плакало об нас, горемычных, всем было кому под сорок, а кому и больше. У меня пятеро оставались, наострили тогда сдуру. Всей деревней провожали, море слез выплакали. Мой младшенький вцепился в меня: «Тягька, возьми меня с собой». В военкомате разделили всех по спискам, двое только и вернулись: Семен Таракан без ноги, да я из плена. От Сонино часов пять шел. Доходяга, будто кровь из меня выцедили.

Двое инвалидов из соседнего села курили молча и сумрачно. Я делал вид, что тружусь над прописями, а сам напряженно вслушивался.

– А меня бог миловал, – весело смеясь, говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой он все же хитрый, умный, лучше всех из Выселок. – Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий...

– Ты сам себя миловал, ловчил, – оборвал его дед Терентий. – Я же один раз комиссию проходил с тобой в сорок первом. Чего ты так вырядился-то? Помнишь? Одна нога в сапоге разбитом, другая в калоше старой на веревочках. Все норовили почище одеться, помылись в бане, а тебя как из нужника вытащили.

Мужики все загудели недовольно.

– Я тогда золотарем был...

– Да знаю, что не комиссаром.

Ты и сейчас-то все плутуешь, выгадываешь.

Мужики заговорили громко, все больше хмелея. Пустой посуды на столе было много. Из четырех братьев деда моего погибли двое, а дед был в плену фашистском, погибли два племянника, один пропал без вести. Словом, за дверями в горнице счет шел громкий, старики ошибались, поправляли самих себя, а мы с бабкой скучно сидели в кухне и хлебали жирные щи с оладьями. Вдруг слышим – плач не плач, смех не смех... «Ну-ка глянь, чего он там, дед-то... Вот горемыка-то, – ворчала бабка незлобиво, – чего-то выкозюливает, глянь-ка».

Дед показывал клеймо точно на том месте, как приказывал шеф Верховного командования сухопутных сил, согнувшись, а мужики смотрели и почему-то смеялись. А дед плакал и ругался. Китайская тушь уже плохо была различима на ягодице левой половины, но было заметно.

Очевидно, бабка не знала о клейме, дед не показывал и ни в оттепель, ни после никому не говорил, а в баню ходил всегда один и после всех. И хотя вся деревня знала, что он был в плену и что его систематически таскали в районное энкавэдэ, тайну знака он не выдавал, совестился, что ли, не хотел ли беречь душу, бог его знает. А тут, по пьянке, при долгой беседе, да еще в такой день, не выдержала душа обиды, не теленок ведь, человек...

Сидели за плен не все. Деда только «таскали», как он говорил тогда бабке: спрашивали всё одно и то же, записывали и бумаги сверяли.

– Ну, чего он там притих-то? – спросила бабка, когда я вернулся в кухню. – Чего, язык-то корова отжевала?

И когда сама, громко закрыв печь заслонкой, раскрыла дверь, посмотрела в горницу, начала ругаться:

– Капли пить нельзя, хоть ополосни и в гроб положи, а вот нейметя. Эка надобность зад мужикам показывать?! У всех раны есть: тот без кисти, этот без ноги...

– Молчи, дура, дура стоеросовая! – озлился дед. – Ты знак посмотри, не видала же...

Бабка уже плохо видела след далекой беды, но и она как-то сникла, заплакала, схватила зачем-то меня за руку и увела в кухню. И чего с ней никогда не было, вдруг налила в стакан граммов сто и залпом выпила. А выпив единым духом, вытерла уголком платка глаза и губы.

В горнице стало тихо, как будто там никого не было, хромали ходики. Через минуту-другую дед скрипучим тихим голосом сказал бабке:

– Эй, Ильинишна, принеси-ка нам, у нас тут вся!

И бабка, всегда ворчливая, недовольная, вспыхивавшая, словно береста на огне, от слова «вся», как-то порывисто, как молодая, снялась с лавки, мельком взглянула на причудливую склянку Кузьмы Лукича, трогательно и неловко прижимая к плоской своей груди, принесла начатую когда-то из значки бутылку очищенной настоящей сельповской водки и отдала старикам.

Все это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягоdice деда, и угрюмый инвалид с оборванной кистью, и деревянный протез хромого с резиновой набивкой снизу...

Многое случилось и после этого за двадцать лет моей жизни, но вот этот знак: открытый острый угол, верно, много раз подновляли,

размывая тушь. А как это делали, дед рассказывал со слезами, трезвый же – никогда и никому. И это, если понять его стыд, была и в самом деле глубокая трагедия человеческой души. И вот я выписал из той же «Недели» статью полувековой послевоенной давности: «Порядок клеймения таков: стянутую кожу намочить китайской тушью, потом поверхностно колоть раскаленной ланцетой. Для устойчивости знака каждые 14 дней, 4 недели, 3 месяца знак проверять и по необходимости возобновлять. Это мероприятие не должно мешать работе. Поэтому клеймение работающих провести по возможности в бараках рабочих команд или при следующей дезинфекции». Так приказал шеф Верховного командования.

Дед в послевоенные годы брал меня с собой в баню. Шли мы с ним медленно: высокий гнутый старик с полотенцем на плечах, такой немногословный и такой родимый – так и остался он у меня в памяти.

О всех ранах, рубцах и ожогах я расспрашивал его, а про знак, сделавшийся каким-то грубым наростом величиной с грецкий орех и даже схожий с этим орехом, – об этом знаке так и не спросил, не осмелился. А надо бы. Надо спрашивать и рассказывать надо. И вспоминать об этом надо. И когда я волей судьбы был закинут в Берлин, ходил в наше трагическое время «реформ» вдоль рисованной и разбитой Берлинской стены, вдоль сияющих супермаркетов и гаштетов, в которых пьют тягучее пиво и одобряют «продвижение НАТО на Восток», я вспоминал бедный, заставленный пустой посудой стол в моей деревне, слезы деда и радостные возгласы Кузьмы Лукича:

– А меня бог миловал! Бог миловал!..